



А. ТОРОСОВ

СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ

Фантастический рассказ

Я проснулся и открыл глаза. Именно проснулся, а не очнулся. Я еще помнил куски своих снов, мне еще досаждали пригрезившиеся наваждения, и сознание едва успело произнести свое успокоительное: «Это ведь был сон...», и щека еще лежала на подушке, и не только лежала, но и помнила себя на этой подушке на протяжении нескольких часов, помнила мягкость и тепло этой подушки.

Вот вчера эта подушка не была ни мягкой, ни теплой, ни жесткой, ни холодной, но была противной. Это потому, что вчера я умирал. Вчера умирал, а сегодня выздоровел. То есть это сейчас мне можно понимать, что вчера я умирал, а вчера, до-

гадайся я об этом, то мне бы и вправду пришел каюк. Впрочем, кажется, я понял, что умираю, еще вчера. Ясно помню это сознание: я умираю... Выходит, я ошибся, потому что сейчас я не только жив, но и совершенно здоров, уж в этом-то невозможно заблуждаться... Да я и не заблуждаюсь, это я вчера ошибся, когда мне показалось, что умираю. Но из-за такой ошибки не стоит особенно расстраиваться. Лучше поскорее открыть глаза... Теперь посмотрим, что у меня перед глазами.

Так... палата. Обычная больничная палата. Или даже не очень обычная, чистая какая-то, маленькая и совершенно отдельная. Лежу на кровати, скучаю один... Интересными же были мои дела, если мне выделили отдельную палату! Хотя это новая больница, кто знает, может, теперь так не только для смертников... Я-то, во всяком случае, выкарабкался, а врачи такие штуки обычно умеют предвидеть...

Ну ладно, посмотрим, что дальше... Так, какие-то медицинские штучки, шкафчики... Ага, репродуктор есть... включим, непременно включим, но попозже, еще успею... А главное, очень светло. Оно и понятно — вон какое окно громадное. И солнце на дворе — сильнющее солнце, хотя окно и завешено чем-то белым. Вчера утром солнца не было, было пасмурно. И птицы не кричали. Это сейчас стрижи кричат за окном, а вчера они не кричали. В декабре стрижи не кричат, в декабре их нет. Это в мае стрижи... Ну что ж, значит, вчера был декабрь, а сегодня май.

А что тут удивительного? Если подумать, то непременно можно найти объяснение. А раз так, то и думать неинтересно. Думать интересно тогда, когда заранее не ясно, есть объяснение или нет. Если заранее ясно, что объяснение есть, то оно и без всяких дум появится. Сейчас зайдет кто-нибудь, а с ним и объяснение. И незачем голову ломать. Никогда не любил ломать голову, если можно обойтись без этого. И потому никогда не любил решать задачи из учебника — зачем решать, если в конце книги есть ответ? А составлять задачи я не любил по другой причине: не то чтобы я не смог, скорее всего смог бы, но делать надо не просто то, что можешь, а только то, что можешь сделать лучше всех, или то, чего никто, кроме тебя, не сделает. Не всегда так получается — ведь задачи я в результате все-таки решал, приходилось... Зато сейчас я буду делать только то, чего за меня не сделает никто другой, например, сяду на постели.

...А это, оказывается, очень приятно — посидеть на постели. Задачи решать, в конце концов, тоже оказалось приятно. И на палату на мою посмотреть тоже очень приятно. Хорошая палата, и хорошая больница. С удовольствием можно поболеть здесь с недельку, особенно если ты совершенно здоров.

Ага, за мной, оказывается, наблюдали, потому что стоило мне усесться и оглядеться, как тут же дверь отворилась и в палату вошел очень приятный человек. Правда, сначала я увидел не то, что он приятный, а то, что он без белого халата. А он тем временем прошел к моей кровати, уселся на ней у меня в ногах, улыбнулся и сказал:

— Доброе утро!

— Привет! — помахал я ему в ответ рукой.

Помолчали, поулыбались. Потом я спросил:

- Вы врач?
- Никак нет.
- Так кто же вы? Медбрат?
- Ни боже мой!

И тогда я слегка удивился — не тому, что посетитель оказался просто посетителем, а последнему его восклицанию — ведь так выражались в нашей компании. Не спрашивайте, почему я не накинулся на гостя с вопросами, — я знал, что все равно он мне все скажет, никуда не денется. И гость заговорил первым:

— Пора знакомиться. Я Олег.

— Я тоже, — кивнул я головой, — но вы ведь это знаете, не так ли?

— Разумеется! И еще я знаю кучу всяких вещей, которые и вам было бы весьма пользительно и приятно узнать, поэтому я, собственно, и пришел, но спешить мы не будем, ладно?

— Ладно, — согласился я, но он, очевидно, не вполне мне поверил, потому что стал объяснять:

— Видите ли, объем сведений, которые я должен буду вам сообщить, столь велик и столь необычен, что вряд ли вам удастся задавать вопросы по делу. Это вовсе не значит, что вам возбраняется задавать вопросы, спрашивайте на здоровье, но отвечать я буду далеко не всегда, и пусть это вас не обижает — я буду поступать так отнюдь не из желания что-либо скрыть, а просто...

— Понимаю, — перебил я его, — просто узнавать надо по порядку, а мои беспорядочные вопросы не всегда будут удовлетворены, так?

— Именно! — восхитился Олег. — Впрочем, кому, как не нам с вами, понимать друг друга с полуслова? На это есть причины, и довольно веские, вы вскоре узнаете, а пока поверьте, что нам следовало бы уже перейти на «ты».

— Верю и согласен.

— Вот и прекрасно, — сказал Олег и полез в карман за сигаретами. Оказались мои любимые, тбилисский «Люкс», но я, и в начале-то не очень склонный к удивлению, сейчас и вовсе воспринимал все как должное — у приятного человека и сигареты должны быть приятными. Без лишних раздумий я потянулся к пачке. Олег пододвинул ее мне, а потом вдруг спросил: — Разве ты куришь натошак?

Я действительно не курю натошак, просто сейчас я забыл об этом, а тут сразу вспомнил, и ужасно захотелось есть. И тогда Олег, ни слова не говоря, сунул свою сигарету обратно в пачку, пачку положил мне на тумбочку, а сам вышел за дверь и мгновение спустя вернулся, толкая перед собой столик на колесах. На столике дымил кофейник и стояла кастрюлька. Олег поднял крышку, и я увидел сосиски с тушеной капустой. Недолго думая, я ткнул в сосиску вилкой, обмакнул в горчицу, поднес ко рту, откусил половину и спросил жуя:

— А вы что же?..

— Благодарствуйте, — отвечал Олег, — я никогда не закусаваю. — И тут мы уже не улыбнулись, а рассмеялись — мы вполне понимали друг друга.

Ели молча, стараясь побыстрее управиться с завтраком, чтобы

возобновить беседу. Когда с сосисками было покончено, я взялся за кофейник, но Олег опередил меня, разлил кофе по чашкам. Я схватил чашку, обжигаясь, проглотил кофе и поставил чашку на блюдце. Одновременно со мной звякнул о блюдце своей чашкой Олег. Я откинулся на подушку, прислонив ее к спинке кровати. Олег откинулся к противоположной стенке, мы глянули друг на друга и хором произнесли:

— Ну-с, а теперь закурим.

На этот раз я уже не рассмеялся. Я внимательно посмотрел на Олега, протянул ему пачку с тумбочки, и он стал перебирать в ней пальцами, пока не выбрал себе сигарету. Я последовал его примеру, выбирая сигарету с плотно приклеенным фильтром: бывает у моего любимого «Люкса» такой недостаток — плохо приклеенный фильтр; затем я стал разминать сигарету в пальцах и продолжал смотреть, как то же самое делает Олег, потом я бессознательно потянулся туда, где обычно в правом кармане пиджака держу спички, а Олег тем временем вытащил из правого кармана своего пиджака коробок, зажег спичку, дал мне прикурить, прикурил сам и погасил спичку, помахав ею в воздухе.

Все его жесты были мне очень знакомы.

Сейчас Олег курил, выпуская дым через как-то странно искривленные тонкие губы.

Я выпустил дым, опустив левый уголок рта, и подумал, что ничего странного в его искривленных губах нет; я и сам их искривляю точно так же. Вот именно так же.

Тогда я спросил:

— Кто... вы?

— На этот вопрос мне придется ответить, хоть он и не в очереди, — улыбнулся Олег и продолжил цитатой из моей любимой книги: — «Дабы не дать твоему изумлению развиваться до степени болезненной...»

Цитата подействовала на меня успокоительно, но Олег тут же продолжил:

— Я — это ты.

«Готово дело, — мелькнуло у меня в голове, — я в больнице!» Вот откуда отдельная палата и май за окном! У меня была амнезия, и я ничего не помню. А это либо псих из соседней палаты, либо врач с каким-то диким методом лечения, либо... либо моя галлюцинация».

Нестерпимо захотелось проверить последнее предположение — надавить на глаз, но сделать это было как-то неудобно. Однако Олег, по-прежнему улыбаясь, кивнул, и я надавил, подумав при этом: «Плевать! Не хватало еще стесняться психов, врачей, а тем более собственных галлюцинаций!» Олег раздвоился, но никуда не исчез. Оставалась первая альтернатива.

— Ты не в больнице, — заговорил Олег, — не удивляйся, что я как будто читаю твои мысли. Просто я прошел уже через все это, а еще я прошел через первые тридцать лет твоей жизни. Короче говоря, я — это ты в тридцать лет, а сейчас тебе тридцать четыре.

— Думаешь, стало понятнее? — спросил я, стараясь говорить как можно язвительнее, но это мне не удалось.

— Слушай и не перебивай. Потом, когда я закончу, я пред-

ставлю тебе любые доказательства моей правоты, а сейчас слушай и старайся верить.

Обещание доказательств — сильное обещание. На меня, во всяком случае, оно всегда действовало, и я, бросив в угол погасшую сигарету, сказал:

— Говори.

— С тех пор, как ты умирал, и по сей день прошло много времени, очень много...

— Это-то я вижу, — кивнул я на окно, — ведь сейчас май?

— Май, и притом не одна тысяча девятьсот восьмидесятый... как ты думаешь.

Мне бы и в голову не пришло об этом думать, я ведь просто знал, а выходит, на тебе!

— И амнезии никакой у тебя не было, — продолжал Олег, — было гораздо хуже. Ты был... как бы это выразить... Почти мертвым... Да, в сущности, совсем мертвым!

Так, понял я, летаргия. Правда, к чему этот бред насчет «Я — это ты»? Хотя, черт его знает, я, может, провалялся трупом не месяц и даже не год... И теперь у них такие вот методы. «Я — это ты». Он врач. И он в меня вжился.

Ничего особенного. Я провалялся трупом много лет, и теперь у меня нет ни родных ни знакомых?..

— Как же так, — повернулся я к Олегу, — выходит, я теперь совсем один?

— Ну, вовсе нет, — улыбнулся Олег, — во-первых, с тобой я, а потом кое-кого из знакомых ты тут увидишь, обещаю тебе. Но об этом чуть позже, ладно? В общем, ты умер. Ты действительно умер тогда, в тысяча девятьсот восьмидесятом, и не от саркомы легкого, как ты сейчас подумал... А впрочем, считай, что от саркомы. Я бы на твоём месте и считал, тем более то, от чего ты умер на самом деле, сейчас ни малейшего значения не имеет... С тех пор прошло много лет... Очень много...

— Сколько именно? — спросил я.

— А какая разница? Ты что, сможешь почувствовать, если я скажу тебе: тридцать тысяч? Или сможешь усечь разницу между тридцатью тысячами и пятьюдесятью? Тем более что в действительности прошло... — он сделал паузу, — черт его знает, сколько... У него сейчас нет летосчисления. В нашем смысле нет.

— У кого «у него»? — не понял я.

— У человечества.

Мне стало интересно. Я не могу сказать точно, что именно сейчас испытывал — веру или недоверие. Вернее всего, не было ни того, ни другого, а только любопытство. Правда это или нет, все равно очень скоро выяснится, а сейчас мне ничего не грозит, это-то я, глядя на Олега, знал, от него мне ничего не грозит, и нечего бояться, а значит, и терзаться вопросом: «правда — неправда?» — нечего, а надо слушать, благо слушается.

— Но об этом потом, — сказал Олег, — ты все абсолютно узнаешь, но чуть погодя, сейчас же слушай главное: ту умер, прошло много лет, и тебя воскресили.

А вот этому я точно не поверил:

— На кой я ему, интересно, сдался, чтобы меня воскрешать? В музей монстров оно меня поместить хочет, что ли?

— Кто хочет? — не понял на сей раз Олег.

— Человечество.
— Это я сейчас объясню... Ты бы смог обойтись без пальцев? Вернее, без одного пальца?
— Ну, смог бы...
— А вот пианист нет. Да и ты с удовольствием бы вырстил отрезанный палец, если бы это было возможно, так?
— Так...
— И если бы у тебя отрезали палец, тебе ведь было бы больно?
— Разумеется!
— Ну так вот, грубо говоря, все мы, все люди — пальцы человечества. Когда мы умираем, когда нас отрезают, ему больно... И так же, как и пианист, оно не может обойтись без любого из нас... И как только у него появилась возможность, оно стало отращать потерянные пальцы. Вот и все, и никакого бессмертия души. Мне ведь не хуже тебя известен мой... твой догмат об абсурдности такого бессмертия!

Да, есть у меня такой догмат. Я считаю, что только безмерное тщеславие человека могло заставить его поверить, будто бог или там природа, не важно кто, настолько заинтересованы в его душе, что позаботятся о ее бессмертии. Будто у бога или у природы нет никаких других занятий, как только пестовать бессмертную душу. Да им, богу и природе, с высокой колокольни наплевать на то, смертна наша душа или бессмертна и есть ли она вообще. Но то богу и природе, потому, как бога нет, а природа бездушна. Человечество — другое дело. Человечеству далеко не наплевать, смертна или бессмертна душа человека, и, как только оно смогло, оно сделало... Разумеется, так. Теперь я верил.

И тому, что этот человек передо мной я, я верил тоже. Это я, или мой двойник, или еще что-то, черт его знает что, но именно что-то в этом роде...

— Дошло? — спросил Олег.

Еще как дошло.

— Конечно, тебе легко, — продолжал он, — мне тоже было ничего — меня встречал Наш Первый... Вот каково ему пришлось, представить себе возможно, но трудновато...

— Наш Первый — это тоже я? Мы?

— Да.

— Сколько же нас здесь? И откуда нас взялось так много?

— Нас здесь трое, и это вовсе немного... Кое-кого тут насчитываются десятки. Скажем, Моцартов.

Это было пока непонятно, но я и не настаивал — разберусь. Пока, пока оставалась одна маленькая формальность. Последняя дань недоверия. Вернее, и не недоверия даже — чувства недоверия у меня не было, а было сознательное стремление удостовериться окончательно — для всякого родившегося в наш рациональный XX век такое поведение было и естественным и обязательным. Я вылез из постели, ничуть не стесняясь перед Олегом своего неглиже, подошел к окну и отдернул занавеску.

Мир за окном был самым обычным. Я стоял у окна обыкновенного дома-башни, этаже этак на десятом, вокруг высились такие же дома, за ними виднелась река, между домами росли деревья и трава, там ходили люди, а в окнах домов и на балконах тоже кое-где виднелись люди, и вид у всех был самый обычный,

деловито-спокойный. На крышах домов я увидел телевизионные антенны, и это меня доконало — неужели врет?

Но Олег — он понимал мое состояние, — он был рядом и негромко говорил:

— Погоди думать... Смотри пока, смотри внимательнее...

И я увидел. Я увидел, что река была слишком чистой — у домов никогда не текли такие чистые реки. Воздух, позволивший мне разглядеть это, тоже был, очевидно, невероятно чистым. Еще я увидел, что нигде, куда только доставал мой взгляд, не было никаких труб, никаких строений производственного вида, но это еще не все — в конце концов, мог же я оказаться в каком-нибудь курортном комплексе! Главное, нигде вокруг, хоть домов и было кругом очень много, не было видно ни одной дороги, да что там дороги, не было ни одной асфальтированной дорожки, и, разумеется, нигде не было ни одного автомобиля. А самое главное, я увидел, когда проследил взором за пальцем Олега, что-то показывающим мне выше домов и антенн, выше кружащихся стрижей, — там летали какие-то птицы, но очень скоро я разглядел, что это за птицы, — это были люди.

Одни из них, летевшие стремительно и, видать, с какой-то целью, имели крылья, изогнутые таким же серпом, как и у ласточек, и такими же ножницами, как хвост у ласточки, оканчивались... — или являлись? — их ноги. Такие люди исчезали из виду быстро, быстрее ласточек. Другие, очевидно, летали просто так, без всякой цели, и крылья имели большие и широкие, как у орла, и махали они ими редко и медленно, а больше парили... Я смотрел на них, задрав голову, пока не свело шею. Я уже не помнил, что подошел к окну для того, чтобы в чем-то убедиться, мне теперь просто хотелось смотреть на них, а еще больше мне хотелось туда, к ним...

— Хочу туда... — прошептал я.

— Полетишь, — говорил рядом Олег, — полетишь обязательно и очень скоро... Это что, это пустяки, то ли еще будет...

— А как они летают? — спросил я, оторвавшись от окна наконец. — Что у них за приборы?

— А у них нет никаких приборов! Разве тебе не ясно, что полет с помощью любого прибора только половина полета? Что бы тебя ни несло — будь то самолет или антигравитационный пояс, — но ты всегда будешь не столько летуном, сколько пассажиром... Главное счастье полета не в этом... У них свои крылья. И летают они сами... Ты, кстати, не удивляешься тому, — резко, как мне показалось, изменил Олег тему, — как мало я на тебя похож внешне, хоть и говорю, что я — это ты?

«Еще как удивляюсь!» — хотел было я воскликнуть, но тут заметил, что удивляться-то, собственно, стал только после его вопроса.

— Действительно, почему, — спросил я, — почему ты так мало на меня похож и почему я так мало этому удивляюсь?

— Потому что я такой, каким бы ты и хотел себя видеть. Потому что мы теперь сами можем выбирать и делать свою внешность. И крылья. И все, что угодно...

— Свобода формы, — понял я, — и скоро? Скоро я смогу?

— По-разному, — пожал плечами Олег.

— А ты? Как скоро смог ты?

— Не скажу, и ты сам поймешь почему... Не дай бог по какой-либо причине в день пробуждения у тебя не получится. Гарантирован ли ты от депрессии или хотя бы просто от досады?

— Нет, — ответил я, недолго подумав.

— Вот видишь? Зачем же сознательно идти на риск испытать досаду?

Вот так! Мне еще привыкать и привыкать к этому миру, где даже досаду стараются предвидеть и избежать!

— В общем, к планомерным занятиям ты приступишь с завтрашнего дня, и там видно будет, а сегодня только общее ознакомление... Тебе, кстати, не холодно? У нас все же в тропиках!

— А где моя одежда?

— Вон в том шкафу.

Одежда мне понравилась.

— Ты выбирал?

Олег кивнул.

— А о сигаретах для меня ты не мог позаботиться? — спросил я, закончив одеваться и шаря в левом кармане пиджака, где обычно ношу сигареты.

— Бери эти. — Олег протянул мне свою пачку. — Я ведь уже не курю... Сегодня просто за компанию с тобой. Ты тоже вряд ли докуришь ее до конца, эту пачку, как и я. А мне ее дал Наш Первый. Сигареты, кстати, совершенно безвредные, и одного этого достаточно, чтобы бросить курить, правда?

Сигарета сейчас же потеряла для меня вкус. На тумбочке стояла пепельница, о которую я ее немедленно и загасил.

— Действительно, — сказали мы, — как унизительно быть рабом привычки, которая даже не вредит здоровью. Нужно избавляться от привычек, потому что привычки закабаляют, — сказали мы и рассмеялись.

А я добавил:

— Но пару раз я еще, пожалуй, покурю. По привычке.

И мы снова рассмеялись, а я положил сигареты в карман.

— Должен признать, — сказал я, отсмеявшись, — что встречу мне подготовили на уровне. Ведь все эти дома — это же специально для меня и для таких, как мы, верно? А для людей, скажем, из средневековья, тут ведь и оттуда имеются, правда? Так для них, что же, замки есть и города средневековые, да?

— Есть, конечно... Ты, очевидно, захочешь посмотреть? Увидишь немало забавного! Ведь для большинства из них инкубационный период длится куда больше нашего! И они продолжают жить, как жили, дерутся на турнирах, ходят в крестовые походы...

— Дерутся на турнирах? Значит, и убивают?!

— Конечно. но какое это сейчас может иметь значение? Всякого убитого немедленно оживляют...

— Однако! — возмутился я. — Оживляй не оживляй, но ведь убиваемому-то больно!

— А аппендицит вырезать не больно? Но ведь в наши дни шли на эту боль для более важного результата, а уж теперь...

— И какой же результат достигается теперь?

— А такой. что почти каждому одного раза оказывается достаточно, чтобы проникнуться идеями гуманизма. После этого их развитие убабляется во много раз... Впрочем, встречаются и

упорные. Мне вот недавно попалась книжка, а для тех, кому они нужны, книги тут есть, и старые и новые, и вот ее автор, французский рыцарь Бозмон де Вильбуа, он уже достиг нашего уровня, а пишет про одного лотарингца, Вольфрама фон Грюбенау. За десять лет после своего первого оживления тот был убит восемь раз, но и не думает успокаиваться, все воюет... Сам Бозмон убил его разок случайно во время турнира, почему им и заинтересовался. А вообще, насколько я могу судить, с ними — с теми, кто был до нас, — очень много хлопот... Но подход дифференцированный.

— Это как?

— Ну, я не знаю, чем при отборе руководствуются; но вот, скажем, некоторым верующим говорят, что они попали в чистилище и что от их дальнейших поступков зависит их судьба. Представляешь, с каким рвением те берутся за науку?

— Представляю, — сказал я, — но ведь это обман?

— Обман? — хмыкнул Олег. — А это не обман? Ты, что же, действительно был оживлен в этой палате? — Он обвел руками стены. — Но ведь ты и не смог бы представить себе то место, где тебя оживили, иначе как палату, вот для тебя и создали вещественное оформление твоего восприятия... А те не могут себе представить иного места после смерти, кроме чистилища. Вот им, чтобы зря не волновались, и говорят, что они в чистилище. В ад сажать жалко, а из рая они уходить не захотят... Да, хлопот с ними много...

— А с нами?

— С нами все же легче. Нам куда скорее можно сообщить, где мы находимся...

— А ведь, пожалуй, — прервал я его, — наше представление о том, где мы находимся, не многим больше соответствует действительности, чем если бы мы считали себя в чистилище...

— Пожалуй, так, — согласился Олег и поднялся с кровати, на которую незадолго до того уселся. — Однако пора менять вещественное оформление твоего представления, не так ли? Не век же тебе жить в этой палате?

— А что, ее тоже можно... трансформировать?

— Разумеется, и сейчас я займусь именно этим. Надеюсь, за последние четыре года твои вкусы не слишком изменились?

— Да вообще, по-моему, не менялись! — пожал я плечами.

— Ну, так не бывает, но, в общем, я справлюсь... Спускайся вниз, я приду через пару минут...

— А мне нельзя посмотреть?

— Зачем? — возмутился Олег. — Я ведь готовлю тебе сюрприз! Придешь вечером и увидишь квартиру. А теперь иди! — И он подтолкнул меня к дверям из палаты.

За дверью оказался самый обычный коридор многоквартирного дома башенного типа. Как и везде, в конце коридора была дверь на лестничную клетку и к лифту. Хотя я и предполагал увидеть что-то в этом роде, а все равно подсознательно ожидал выйти не в обычный коридор, а в больничный, но, как ни велико было это мое изумление, прошло оно быстро, и вскоре я уже нажимал на кнопку вызова лифта. Надо ли говорить, что кабина оказалась на этаже и дверь немедленно распахнулась?

Внизу было прекрасно — трава, деревья, а впрочем, кто не знает, что это такое — майский день? Особенно для человека, который вчера, в декабре, умирал, а сегодня, в мае, здоров.

Нет, во мне не было ничего от состояния выздоравливающего. Тело не помнило болезни. О болезни помнила голова. То есть не помнила, а знала — вчера была болезнь. А сегодня никакой болезни нет. Меня воскресили. Здравствуйте.

Здравствуйте, мои красивые новые современники. А кстати, действительно, до чего они красивые!

Люди попадались мне навстречу нечасто, все, как и я, шли куда-то неспешным шагом, очевидно, по делам тут ходят не пешком, и все мужчины и женщины, были красивы на удивление...

«Вот они теперь какие... — подумал я, но тут же до меня дошло. — Стоп, это ведь не потомки мои, а старые современники! Они ведь все из двадцатого, и скорее всего из Москвы, очень уж дома вокруг напоминают именно Москву. Значит, все вы — мои современники, и любого из вас я мог встречать на улицах Москвы, так? Да нет, не так! Ничего похожего на эту вот девушку в удивительном платье я на улицах Москвы не встречал — такое бы не забылось... Боже, как она идет... А впрочем, вот эта разве хуже? Где ты видел парней как вон тот, например, что, смеясь, бежит за девушкой, от одного вида которой щемит сердце? Значит, все же потомки? Хотя, тьфу ты, черт, нет, конечно, нет! Свобода формы? Да, именно она!

Значит, теперь внешность ни о чем не говорит? Что может сказать внешность теперь, когда всякий кроит себя по своему вкусу, а если у кого не получается, то находятся портные, которые помогают... Вот и смотри после этого на лица...»

Мне стало грустно, я повалился на траву и стал смотреть на свой дом, пытаясь определить свое окно, не нашел и перевел взгляд на подъезд, ожидая, когда появится Олег.

«А кстати, Олег... Он ведь выглядел раньше так же, как я... Теперь он выглядит много лучше... Именно так, как я и сам хотел бы выглядеть. Так он сказал, так оно и есть... Стоп! Выходит, каждый теперь выглядит так, как он хочет? И значит, — я даже подскочил от радости, хлопнув себя по лбу, — значит, на самом деле внешность теперь говорит гораздо больше, чем раньше! Значит, теперь я вижу не результат слепой комбинации генов — ушки мамыны, глазки папины, а то, чем человек хочет быть! То есть то, за что он теперь сам отвечает! А это куда важнее, конечно! Внешность теперь говорит куда больше о том, что внутри...»

Ну вот, скажем, та, что прошла слева, очень красива и очень мне нравится, а это значит, что у нас одинаковые вкусы. А вот та, что идет прямо на меня, но сворачивает в сторону, красива не меньше, я это понимаю... понимаю, но не чувствую. И значит, вместе нам с ней делать нечего. Черт возьми, вот это да!»

Я снова повалился на траву.

«Этак я голову тут скоро потеряю от такого обилия красавиц, — подумал я, улыбнулся и успокоился: — Не потеряю, привыкну к тому, что красота норма, а не исключение, и даже, может, пойму наконец, отчего бывает любовь... Ведь слишком

часто раньше приходилось считать, что из-за красоты; а вот тут, где все красивы, нельзя же любить всех? Пусть даже не всех, а только тех, чья красота мне нравится?.. Интересно — красота уже может нравиться и не нравиться. Хм, красота — и не нравится. Не в моем, видите ли, вкусе! Но тут и таких, какие нравятся ого-го, сколько! Так вот, не всех же любить?

А между тем тут любят, я вижу. Вот все тот же русоволосый гигант, что посадил свою подругу себе на плечи и лезет с ней на верхушку тополя, — он ее любит, свою девчонку! Для этого одной силы мало, нелюбимую на верхушку тополя не потащишь!»

И мне тут же захотелось посадить себе на плечи мою любимую и полезть с ней — да что на тополь — на крышу этого вот дома. Но не было у меня пока такой силы и не было любимой. Давно не было. Я бы не узнал ее, если бы она была здесь, та, которую я мог бы полюбить. Я уже начинал ее любить — странно звучит: начинал любить, но это было так. Еще чуть-чуть, и я полюбил бы. Но я умер.

А теперь — здесь она или нет? И вообще, всех ли они воскресили или воскрешают, как меня, или только некоторых? И как? Очень интересно — как?

И вот что еще интересно... О, это настолько интересно, что я даже похолодел... Пардон, меня ли воскресили? Меня?

То есть, разумеется, я Олег. Тот самый, что вчера умирал... Или настолько точная копия, что уж сам-то, во всяком случае, разницы не найду. Это-то они могут, через миллион лет после нашей эры... Да для меня сегодняшнего это, в общем, без разницы. Если бы мне сказали тогда — ты умрешь, но через миллион лет тебя воскресят. Сейчас ты закроешь глаза и умрешь, а через мгновение снова откроешь... через мгновение... Так вот, кто же открыл глаза через мгновение, тот ли, кто умирал тогда, или я, открывший глаза, только копия его? О боже, где Олег? Он не мог об этом не подумать, он должен знать! Олег!.. А впрочем, разве я не знаю, что мне скажет Олег? Ну-ка попробуем: «А откуда ты знаешь, что через полчаса, да что через полчаса, через секунду это будешь опять ты, а не кто-то, чья жизнь началась с того, а не с этого мгновения? Разве для тебя в настоящем есть способ убедиться, что и в будущем это будешь ты? Ну и просто, когда ты ложишься спать, откуда ты знаешь, что проснешься именно ты, а не твоя копия? Только из-за того, что утром будешь чувствовать себя тем же, кем был вчера? А сейчас ты разве себя не чувствуешь тем же? Все дело в том, что вечером ты уверен в своих завтрашних ощущениях, у тебя есть на сей счет богатый опыт, а оживляют тебя впервые. Если бы тебя с самого рождения ежедневно умертвляли, а потом оживляли, ты относился бы к этому так же спокойно, как к ежедневному сну. И, наоборот, если бы впервые заснуть тебе пришлось в сознательном возрасте, по пробуждении ты точно так же стал бы спрашивать: ты это или не ты. А способ в этом удостовериться точно так же не нашлось бы, как и сейчас. А раз нет такого способа, то и думать над этим совершенно бессмысленно. Все».

Олег скажет именно так. Я это знаю, потому что я Олег. Вот разве что еще в случае со сном тело, тело-то остается одним и

тем же, но это и вовсе просто: ведь и без всяких воскрешений все клетки в теле человека несколько раз совершенно обновляются в течение жизни. И что же? Разве от этого человек перестает быть одним и тем же, что для себя, что для окружающих? И хоть обычно такое обновление происходит постепенно, а не скачком, но все равно, появляется ли какая-нибудь разница, установить сейчас совершенно невозможно. Нет способа. А раз нет способа, то думать сейчас над этим дальше абсолютно бессмысленно. Мой век, век кибернетики, приучил меня к этому.

И тут раздался шум, я поднял голову и увидел, что с небес на меня планирует Олег. Вместо рук у него крылья, на крыльях перья, но, как только ноги его коснулись земли, крылья и перья исчезли, снова появились руки, а на руках были рукава пиджака.

— Здорово! — восхитился я. Особенно меня восхитили рукава: — Теперь даже это умеют? — показал я на них.

— Теперь умеют гораздо больше. Наш Первый летает уже вообще без крыльев.

— Кстати, где он, этот Наш Первый, и откуда он взялся, и откуда взялся ты, и, вообще, объясни мне все наконец...

— Сядем, — указал Олег на траву, откуда я только что поднялся, — вечер вопросов и ответов переходит в стадию одних ответов. Ответ первый: Наш Первый — в эмпирах. Но сначала я поспешу утешить твоё задетое самолюбие — не правда ли, тебе кажется странным и обидным, ну хоть слегка, что он не пришел тебя встретить, а?

Я пожал плечами.

— А то ты не знаешь!

— Знаю. Ну так вот, он непременно придет, а потом ты пойдешь к нему, но сейчас в вашей встрече нет никакой нужды. Если бы она была, он был бы здесь. Ему виднее. Дело в том, что он уже состоялся. А мы пока ходим в детский садик, — Олег указал рукой вокруг. — Сперва я попробую тебе рассказать о том, что оно сейчас представляет, насколько я сам это понимаю, разумеется...

Я не стал спрашивать, кто «оно». Я уже знал — человечество.

— В общих чертах, произошло то же, что и тогда, когда атомы слились в молекулы, молекулы — в белок, белки слились в клетку, клетки слились в колонию, а потом из колонии развился организм. В колонию человечество слилось еще задолго до нас, а потом из колонии оно выросло в единый организм. Все они теперь одно, понимаешь? Каким-то образом они мыслят в месте... Произошло гигантское усложнение структуры... Мне не до конца понятно, хотя какое там не до конца, мне абсолютно не понятно, каким образом это могло произойти. Попробуй объясни клетке, что такое организм. Теперь человечество везде. Для него нет ни пространства в нашем понимании, ни времени, а вернее, для него нет власти пространства и времени над ним... Да что говорить — что бы мы тут ни насочиняли о его безграничном могуществе, все равно выйдут пустяки по сравнению с тем, что есть... Попробуй представить себе питекантропа, рассуждающего о всемогуществе человека XX столетия?..

— Как в детстве, — подхватил я, — мечтал, когда вырасту,

заработаю сто рублей и скуплю все торты в кондитерской. А когда вырос, то о тортах и не вспомнил...

— И это тоже, — согласился Олег, — конечно, наши проблемы несравнимы... Но, ты видишь, тут я знаю немногим больше твоего, представляй себе все, что только сможешь, и ошибешься только в сторону недобора...

Мне стало жутковато...

— А как оно... они то есть выглядят?

— Сам понимаешь, каждый из них может быть на вид каким угодно, это даже нам доступно... Кстати, как мы и предполагали, люди оказались не единственной расой во вселенной, и нынешнее человечество включает в себя все расы, какие только в ней есть. Так что люди сейчас какие угодно, но в основном каждой расе больше нравится свой исконный облик. Наш Первый похож на меня. И на тебя.

Мы помолчали.

— Главное не стоит огорчаться. Немного времени пройдет, и мы дорастем наконец до него и сольемся, и нам сразу станет все ясно, но и тогда никому не удастся высказать эту ясность на том языке, которым мы сейчас пользуемся... Наш Первый был терпелив, я досаждал ему вопросами много часов, а он пытался ответить, но единственное, что ему удалось, это доказать мне наконец, что я не могу его понять. И тогда я отстал, извинившись. А он ничего другого доказывать и не собирался, поскольку знал, что ничего другого и не выйдет. И если тебе недостаточно моих слов, ты можешь отнять у него столько же времени, сколько и я, но результат будет таким же, разве что ты стал гением за те четыре года, что мы... не виделись.

— Я не стану ему досаждать. Но кто наконец он? И кто ты?

— Все мы — я. У человечества теперь всечеловеческая память. Оно помнит все, что было с ним, но, как и отдельный человек, не все одинаково, а кое-что и ему не удастся, скажем, запомнить незначительное. Запоминается что-то особенное, ведь так? И ты удивись, когда узнаешь... Впрочем, погоди-ка, сначала расскажу, что запоминается. В первое время запоминаются Звездные часы... Момент творчества, момент озарения, момент проникновения... Эти мгновения отпечатываются во вселенной, они отпечатываются и в памяти человечества... Так было всегда, только в наши дни для этого служили книги, картины, ноты, документы... Теперь запоминание идет непосредственно, и потому теперь никто не умирает — его помнят... А мы умирали, и память о нас оставалась в виде чего-то, и с теми, с кем это произошло, с теми, чьи мысли, чья суть, выраженная в книгах ли, в делах ли, дошла до настоящего времени, было проще всего... Оказывается, это очень легко — восстановить автора по его книге...

— По каждой книге? — Я представил себе легионы авторов, выпускавших сотни тысячами тиражами, и у меня закружилась голова.

— Нет, что ты, — успокоил Олег, — я, правда, не совсем себе представляю, в чем тут дело, но из каждого следа — всякая книга это только один след — можно воссоздать только одного человека. Тиражирования не происходит, оно и не нужно никому. Но дело не только в этом. По неясным для меня при-

чинам в результате восстановления след исчезает. Может быть, потому, что памяти незачем хранить следы того, что само в ней содержится?

— Я что-то понял, не знаю, правда, что, но... продолжай.

— Так вот, оказалось, очень легко восстановить автора по книге, композитора по музыке, словом, творца по творению... Помнишь, я говорил тебе, что сейчас есть десятки Моцартов? До настоящего времени дошли десятки его творений, понимаешь?

— Понимаю! Значит, ты... Четыре года назад... Я тогда написал, я помню... Значит, это по ней ты восстановлен?

— Да.

— Пережила, значит, века моя вещичка... Хоть одна-единственная из всех моих, но пережила...

— Увы, все гораздо хуже... Из написанных в XX веке книг сохранились все или почти все, так уж было поставлено библиотечное дело. Правда, далеко не в каждой из них имеется след души автора. В моей и твоей книгах такой след оказался. Хотя... Увы, то была обычная, заурядная книга, просто во всякой книге, в самой заурядной, есть след души автора, иначе это не книга, а просто набор черных типографских знаков. У нас все же была книга.

— Но ведь книга, книга-то была не одна! Все остальные, что же, набор знаков? — Я вскочил на ноги.

— Поверь, мне так думать не приятнее, чем тебе!

Я поверил и сел.

— И наверное, — продолжил Олег, — все еще не так плохо, просто выбрали самую лучшую и восстановили, поскольку по ней легче всего. Пройдет время, и они станут восстанавливать и по другим — не могут же они сделать сразу все. Кто может сразу все, тому и делать-то нечего, не так ли? В общем, таким образом я себя успокаиваю и тебе советую... Но, может быть, трех экземпляров нашей личности им вполне достаточно, и впредь им нечего себя утруждать, поскольку ничего нового не предвидится, а? Повторяю, в тиражировании тут никто не заинтересован, а мы с тобой хоть и одно, а все же разное! И скоро начнем это замечать!

— Ну ладно, значит, тут имеются одни только... творцы?

— Вовсе нет! След творения просто самый легкий след, есть вещь, в которой он запечатлен, но это след не единственный. Тому примером ты сам, восстановленный не по книге.

— Действительно...

— Ты восстановлен... прислушайся только, ты восстановлен по страданию... Был момент, когда ты осознал: «Я умираю!» И было в тебе много такого, что не хотело умирать, что смогло бы еще жить, потому что оставалось здоровым, и это все закричало: «Я умираю!» Такие крики не забываются.

Мы замолчали. Стало ли прохладно от наступающего вечера, или дрожь прошедшая по мне и заставившая меня передернуть плечами, была нервной?

— Послушай, — снова начал я после долгой паузы, — но тогда, тогда вообще всякий может быть восстановлен!

— Увы, опять-таки нет... Осознать: «Я умираю!» — успевают не каждый. Далеко не каждый... Но главное даже не в этом. Многие умирали без страдания, и начиная с нашего века таких

становилось все больше, пока наконец страдание не исчезло почти совсем, представляешь? Люди жили себе в свое удовольствие, ни о чем таком не думали, доживали до девяноста, до ста, потом я до двухсот лет, звезд с неба не хватало, и тут приходила пора умирать, и, спокойные, умиротворенные, лежали они на своем одре, понимая, что все у них позади, и не испытывая никаких страданий... Вот от таких не осталось никаких следов... По крайней мере, различимых на сегодняшнем уровне, так сказал Наш Первый. Вот и получается, что вплоть до XX века контингент человечества восстановлен почти полностью — ну кто до нас умирал без страданий? А начиная примерно с нашего времени, остались одни творцы. Правда, чем дальше, тем их становилось больше, пока наконец каждый не стал творцом, но огромное белое пятно присутствует...

— А ведь мы это всё понимали, — сказал я, — печенкой, что ли, но понимали... Да что мы — люди всегда это понимали... Человек всегда уважал страдание и всегда уважал творца, хоть далеко не всегда понимал, зачем он это делает...

— А помнишь бесчисленные споры всяких искусствоведов наших дней: где талант, а где ремесло и где вообще критерий, как их отличать? Критерий-то, вот он, оказывается...

— Но разве мы часто ошибались? — спросил я. — Скажи, ты уже должен это знать!

— Представь себе, ни одно произведение, хоть на несколько лет пережившее автора, не оказалось забракованным. О, многие из них тебе не понравятся, я знаю, но в таланте автору там не откажешь, нет, не откажешь... И, наконец, еще один источник восстановления — сильные порывы. Ведь не только же: «Я умираю!» — звучит у человека во весь голос? А «Я люблю», «Я могу», «Я знаю».

— Наш Первый! — воскликнул я. — Я знаю теперь, откуда он!

— Правильно, знаешь, — подтвердил Олег, — теперь ты знаешь все, что тебе стоило знать на сегодня, и я тебя, пожалуй, оставляю...

— Да, мне надо подумать, — откликнулся я.

— Твоя квартира на десятом этаже, на двери написано: «Олег», ты увидишь, — сказал Олег, вставая, — до завтра!

— До завтра! — пожал я его... — свою? — руку. Олег зашагал от меня и в наступившей темноте исчез быстро. Как только я перестал его видеть, мне вдруг стало грустно, но ненадолго. Завтра я увижу его опять, завтра я начну учиться летать, кроить свое лицо и вообще писать палочки... Вернее, даже не писать палочки, а учиться лепить куличики из песка... Завтра я начну ходить в детский садик, в ясельки начну ходить... Я вел себя пайнкой, и меня взяли в ясельки... У меня была саркома или то, что Олег советует считать саркомой, и, умирая, я успел крикнуть: «Помогите!» И мне помогли за то, что я, такой умница, успел крикнуть. Если бы я разбился в автомобиле или, поскользнувшись в гололед, ударился бы затылком, мне бы не помогли.

Я откинулся на спину и стукнулся легонько своим затылком о сложенные ладони. Я стал смотреть в небо. Небо уже потемнело, появились звезды. Будем смотреть на звезды, раз мне позволили снова смотреть на звезды. Всем хорошим детям можно

смотреть на звезды. Всем, кто вовремя... Ах, черт, но ведь звезды-то... не те!..

Я вскочил на ноги и задрал голову, потом до меня дошло, что лежа-то смотреть куда удобнее, а ноги все равно уже подкосились от изумления, и вот я уже снова лежал и смотрел на не те звезды... Конечно, миллион лет, конечно, я профан в астрономии, в картине звездного неба, но ведь не на столько же я профан, чтобы не понимать — за миллион лет так небо не могло измениться. И еще, скажите на милость, а где это, спрашивается, Млечный Путь? Его нет!

Выходит, Земля теперь не там? А лучше сказать, я не на Земле?!

Не на Земле? Да! Ну и что же? А ты думал, для всех людей, воскрешенных, и заново рождающихся, и не умирающих, хватит одной нашей маленькой Земли? Где бы они на ней поместились? И потом, разве это для тебя такая уж неожиданность? И разве крылья менее удивительно? Хотя нет, крыльев мы ждали, и крылья мы уже имели... Не такие, но имели... Этого мы тоже ждали, но ведь не так... И потом, крылья... Крылья ведь — вот они... Крылья — это ведь и вправду очень просто... Да и не нужно никаких крыльев! К черту крылья! Ах, какой умный ребенок, он уже летает без крыльев!.. Тьфу, перестань! Чего ты разнылся? Что тебя, дурака, расстроило? Что взяли тебя за твой писк: «Умираю», а не за гордый возглас, как Олега и того, Первого?.. Зависть тебя расстроила? Конечно, она! Разве одним из первых чувств, когда ты только что оторвался от Земли, не был гадкий всплеск: «Ага! А у Олега-то еще крылья!»? Прочь, прочь все это, да этого всего уж и не осталось! Какая может быть зависть к Олегу, к себе самому, да и не только к Олегу! Разве все остальные не я? Разве все они не я, оставивший в них свой след, и впитавший его в себя, и живущий теперь всеми своими жизнями? И вся эта вселенная, моя вселенная, которую я заполнил собою и одним ритмом с которой теперь пульсирую, ведь я и она одно... И когда она кончится, когда я кончусь, потому что когда-нибудь все кончается, я все равно оставлю свой след, который не пропадет никогда, и это будет не писк! Не надо пищать! Потому что еще не раз наступит то, что много раз уже бывало, — почувствуется и скажется: «Я люблю! Я могу! Я знаю! Я ЖИВУ!»

